



### **«Кто есть кто?»**

**С**начала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.

Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежемороженой рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю — щелкал, рассыпался трелью, ломкой и беззащитной в этом черном, тихом парке.

Штирлиц вспомнил деда: старик умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими — быстрыми, черными бусинками, и птицы совсем не боялись его.

«Пинь-пинь-тарарах!» — высвистывал дед.

И синицы отвечали ему — доверительно и весело.

Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями.

«Замерзнет, бедный, — подумал Штирлиц и, запахнув шинель, вернулся в дом. — И помочь никак нельзя: только одна птица не верит людям — соловей».

Штирлиц посмотрел на часы.

«Клаус сейчас придет, — подумал Штирлиц. — Он всегда точен. Я сам просил его идти от станции через лес, чтобы ни с кем не встречаться. Ничего. Я подожду. Здесь такая красота...»

Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на берегу озера — своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца уговаривал обергруппенфюрера СС Поля выделить ему деньги для приобретения виллы у детей погибших при бомбежке танцоров «Оперы». Детки просили много, и Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, категорически отказывал Штирлицу. «Вы сошли с ума, — говорил он, — снимите что-нибудь поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей бремя войны».

Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа — начальника политической разведки службы безопасности. Тридцатичетырехлетний бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг сразу понял, что лучшего места для бесед с серьезными агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена купчая, и некий Бользен, главный инженер «химического народного предприятия имени Роберта Лея», получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользеном был штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

...Кончив сервировать стол, Штирлиц включил приемник. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту

довольно часто смотрели в подвале на Принц-Альбрехт-штрассе, особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.

Штирлиц позвонил сторожу и, когда тот пришел, сказал:

— Дружище, сегодня можете поехать в город, к детям. Завтра возвращайтесь к шести утра и, если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе, самый крепкий, какой только сможете...

### **12.2.1945 (18 часов 38 минут)**

«— Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке: человека или животного?»

— Я думаю, что того и другого в человеке поровну.

— Так не может быть.

— Может быть только так.

— Нет.

— В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.

— Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске.

— И эта закваска?

— Честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю?

— Да, да, конечно, я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть

разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер.

— Да?

— Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию. Здоровую, сильную, желающую отвоевать себе жизненное пространство.

— Вы не представляете себе, как вы не правы, ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию.

— А вы видите в каждом человеке бестию вообще.

— А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны. А обезьяна суть животное.

— Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны; вы не видели той обезьяны, от которой он произошел, и эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации.

— А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?

— Разумеется, мне никто ничего не говорил, и я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации; я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации.

— Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека.

— Который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке. А я верю в Бога в человеке.

— А Бог, он что — в каждом человеке?

— Разумеется.

— Где же он в фюрере? В Геринге? Где он в Гиммлере?

— Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих

негодяев можно найти следы падшего ангела. Но, к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения.

— Почему проклятие обезьяньего происхождения?

— Я говорю на своем языке.

— Значит, надо принять божеский закон по уничтожению обезьян?

— Скорее всего нет.

— Вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы, которые меня мучают. Вы не даете ответа «да» или «нет», а каждый человек, ищущий веры, любит конкретность, и он любит одно «да» и одно «нет». У вас же есть «да нет», «нет же», «скорее всего нет» и прочие фразеологические оттенки «да». Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики.

— Вы неприязненно относитесь к моей практике. Ясно... И тем не менее вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать?

— Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, наличествует и божественное, и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убеждать, я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, интересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара?

— Что значит — подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину

нацистского государства. Одно дело — подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, эта притча совести человеческой. Другое дело — попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе, в идее своей лишена совести... Разумеется, с машиной, или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.

— Пастор, мне неловко — может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но... Вы что, были в свое время в гестапо?

— Ну что же я могу вам сказать? Я был там...

— Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли вы, пастор, что после окончания войны паства не будет верить вам?

— Мало ли кто сидел в гестапо.

— А если пастве шепнут, что пастора в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-то — вернувшихся, как вы, — единицы из миллионов... Не очень-то паства поверит вам... Кому вы тогда будете проповедовать свою правду?

— Разумеется, если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу что бы то ни было исправить в моем положении.

— И что тогда?

— Тогда? Опровергать это. Опровергать, сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать — умереть внутренне.

— Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы останетесь?

— Господь судит. Останусь так останусь.

— Ваша религия против самоубийства?

— Потому-то я и не покончу с собой.

— Что вы будете делать, лишенный возможности проповедовать?

— Я буду верить не проповедуя.

— А почему вы не видите для себя другого выхода — трудиться вместе со всеми?

— Что вы называете «трудиться»?

— Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки — хотя бы.

— Если человек, кончивший богословский факультет, нужен обществу только затем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь и сгореть там в крематории...

— Я лишь ставлю вопрос — а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение — так сказать, фокусировку вашей мысли вперед.

— Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, — бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа — это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть, мало сказать, равноправный с любым другим труд — труд духовный есть особо важный.

— Я сам по профессии журналист, и мои корреспонденции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви.

— Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы неправильно толковали самого человека.

— Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток, которые жили в катакомбах Бремена и Гамбурга. Гитлеровское государство назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека.



— Мы не боимся правды жизни.

— Бойтесь! Я показывал, как эти люди пытались приходить в церковь и как церковь их отталкивала; именно паства отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы.

— Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду. Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека.

— Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик?

— Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь, в ней есть протяженность и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди.

— Пастор, я ставлю вопрос, а вы, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы — над схваткой, когда вы тоже в схватке?

— Это верно: я в схватке, и я действительно в войне, но я воюю с самой войной.

— Вы очень материалистически спорите.

— Я спорю с материалистом.

— Значит, вы можете воевать со мной моим оружием?

— Я вынужден это делать.

— Послушайте... Во имя блага вашей паствы — мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес я вам

дам. Я доверю вам адрес моих товарищей... Пастор, вы не предадите невинных...»

Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встретиться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил.

— С куревом у пастора было плохо? — спросил Штирлиц, не оборачиваясь.

Он стоял у окна — громадного, во всю стену — и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба: здешний сторож получал двойной паек и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц — из СД, и был твердо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам: сюда ни разу не приезжала ни одна женщина, а когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда — изысканная и первоклассное, чаще всего американское, питье.

— Да, я там замучился без курева... Старичок говорун, а мне хотелось повеситься без табака...

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все: лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно: Клаус полностью бьет Ломброзо<sup>1</sup> — он страш-

---

<sup>1</sup> Ломброзо Чезаре (1835—1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазном уголовном праве.

нее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил...»

Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему.

— Ну? — спросил он. — Значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь?

— Да, это вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно — наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: «Стой! Глупец! Куда?!»

— Ну, это уж не стоит, — сказал Штирлиц, — это было бы неразумно.

— У вас нет рыбных консервов? Я схожу с ума без рыбы. Фосфор, знаете ли. Требуют нервные клетки...

— Я приготовлю вам хороших рыбных консервов. Какие вы хотите?

— Я люблю в масле...

— Это я понимаю... Какого производства? Нашего или...

— «Или», — засмеялся Клаус. — Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты, и питье, сделанные в Америке или во Франции...

— Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные... Масса фосфора... Знаете, я вчера посмотрел ваше досье...

— Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом...

— Это не так интересно, как кажется... Когда вы говорите, смеетесь, жалуется на боль в печени — это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию... А в вашем досье — скучно: рапорты, донесения. Все смешалось: ваши доносы, доносы на вас... Нет, это неинтересно... Занятно другое: я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе, было

арестовано девяносто семь человек... Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали...

— Зачем вы говорите мне об этом?

— Не знаю... Пытаюсь анализировать, что ли... Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали?

— А как вы думаете?

— Я не знаю.

— Черт его поймет... Я, видимо, чувствовал себя сильным, когда вступал с ними в единоборство. Меня интересовала схватка... То, что будет с ними потом, — не знаю... Что будет потом с нами? Со всеми?

— Тоже верно, — согласился Штирлиц.

— После нас — хоть потоп. И потом, наши люди: трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным... Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой...

Штирлиц спросил:

— Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору?

— Никто.

— Около девяти...

— Вы ошибаетесь, — ответил Клаус, — во всяком случае, от вас никто не приходил, я был там совсем один.

— Может быть, это был прихожанин? Мои люди не разглядели лица.

— Вы наблюдали за его домом?

— Конечно. Все время... Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас?

— Будет. Вообще я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления...

— Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле... Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире... Потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части...

Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса: в Кельне были схвачены два русских «пианиста». Их взяли за работой, прямо у радиоаппарата. Они молчали, к ним нужно было посадить хорошего человека. Лучшее, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса.

— Возьмите в серой папке лист бумаги, — сказал Штирлиц, — и пишите следующее: «Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха...»

— Зачем это? — спросил Клаус, подписывая письмо.

— Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, — ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. — Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья.

— Спасибо, — сказал Клаус, — только денег ведь у меня много...

— Больше не помешает, а? Или помешает?

— Да в общем-то — не помешает, — согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. — Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить...

— Вспомните еще раз: вас никто не видел у пастора?

— Нечего вспоминать — никто.

— Я имею в виду и наших людей.

— Вообще-то меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то — вряд ли... Я не видел никого...

Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с

прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлаг. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад: его глаза лучились добротой и мужеством — он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой — так прекрасно было его лицо, скорбен голос и так точны были слова, которые он произносил.

— Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру, — сказал Штирлиц. — И набросайте еще одно — пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе.

Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги.

— «Честность подразумевает действие, — посмеиваясь, начал читать он, — вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии — предательство: и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность, потомство — никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействия. Бездействие — это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя: Бог вам в помощь». Ну как? Ничего?

— Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу? Или стихи?

— Нет. Если бы я мог писать — разве бы я стал... — Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица.

— Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать: умеете вы писать, разве бы вы стали работать на нас?

— Что-то в этом роде.

— Не в этом роде, — поправил его Штирлиц, — а именно это вы хотели сказать. Нет?

— Да.

— Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски, и тронем, уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят.

- Квартира далеко?
- В лесу, километров десять. Там тихо, отоспитесь до завтра...
- Уже в машине Штирлиц спросил:
- О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?
- Я же говорил вам об этом — сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать...
- Правильно делали... И о Швейцарии он тоже молчал?
- Наглухо.
- Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор!

Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны — это Штирлиц знал точно — находился в двух километрах, уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки — раньше отсюда ловили рыбу — прямо в воду.

Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет (версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно, письма были отправлены самим Клаусом), снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлаг, было сорок километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час, — он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени...

### **12.2.1945 (19 часов 56 минут)**

*(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1930 года группенфюрера СС Крюгера: «Истинный ариец, преданный фюреру. Характер — нордический, твердый. С друзьями — ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха.*

*Отличный семьянин; связей, порочивших его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела...»)*

После того как в январе 1945 года русские ворвались в Краков и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким, начальник имперского управления безопасности Кальтенбруннер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера.

Кальтенбруннер долго молчал, приглядываясь к тужелому, массивному лицу генерала, а потом очень тихо спросил:

— У вас есть какое-либо оправдание — достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер?

Мужиковатый, внешне простодушный Крюгер ждал этого вопроса. Он был готов к ответу. Но он обязан был сыграть целую гамму чувств: за пятнадцать лет пребывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше.

Так постепенно прежний Крюгер исчез; вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно не знакомый никому генерал, боявшийся не



то что говорить правду, нет, боявшийся разрешать себе думать правду.

— Нет, — ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствованно и тяжело, — достаточного оправдания у меня нет... И не может быть. Я — солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду.

Он играл наверняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера.

— Не будьте бабой, — сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. — Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его.

Крюгер сказал:

— Обергруппенфюрер, я понимаю, что моя вина — безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может подтвердить: все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно.

— Какое отношение к операции имел Штирлиц? — пожал плечами Кальтенбруннер. — Он из разведки, он занимался в Кракове иными вопросами.

— Я знаю, что он занимался в Кракове пропавшим ФАУ, но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции, полагая, что, вернувшись, он доложит или рейхсфюреру, или вам о том, как мы организовали дело. Я ждал каких-то дополнительных указаний от вас, но так ничего и не получил.

Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из шестого управления в список лиц, допущенных к проведению операции «Шварцфайер». Узнайте, был ли на приеме у руководства Штирлиц после возвращения из Кракова,

и если был, то у кого. Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе.

Крюгер понял, что он слишком рано начал подставлять под удар Штирлица.

— Всю вину несущий один я, — снова заговорил он, опустив голову, выдавливая из себя глухие, тяжелые слова, — мне будет очень больно, если вы накажете Штирлица. Я глубоко уважаю его как преданного борца. Мне нет оправдания, и я смогу искупить свою вину только кровью на поле битвы.

— А кто будет бороться с врагами здесь?! Я?! Один?! Это слишком просто — умереть за родину и фюрера на фронте! И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать каленым железом скверну! Здесь нужна не только храбрость, но и ум! Большой ум, Крюгер!

Крюгер понял: отправки на фронт не будет.

Секретарь, неслышно отворив дверь, положил на стол Кальтенбруннера несколько тонких папок. Кальтенбруннер перелистал папки и ожидающе посмотрел на секретаря.

— Нет, — сказал секретарь, — по возвращении из Кракова Штирлиц сразу же переключился на выявление стратегического передатчика, работающего на Москву...

Крюгер решил продолжить свою игру, он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален.

— Обергруппенфюрер, тем не менее я прошу вас позволить мне уйти на передовую.

— Сядьте, — сказал Кальтенбруннер, — вы генерал, а не баба. Сегодня можете отдохнуть, а завтра подробно, в деталях, напишите мне все об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу... Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел.

Когда Крюгер ушел, Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Подберите мне все дела Штирлица за последние год-два, но так, чтобы об этом не узнал Шелленберг: Штирлиц ценный работник и смелый человек, не стоит бросать на него тень. Просто-напросто обычная товарищеская взаимная проверка... И заготовьте приказ на Крюгера: мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо — там горячее место...

### **15.2.1945 (20 часов 30 минут)**

*(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1938 года Холтоффа, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер — приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)*

Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с Принц-Альбрехтштрассе в Науэн: там в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик Пауля, и, как год и как пять лет тому назад, сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой.

Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет: так же, как и раньше, играла радиола, и низкий голос Бруно Варнке напевал: «О, как прекрасно было там, на Могельзее...»

Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтофф из гестапо и сказал:

— Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам, в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи.

Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.

— Неужели у вас нет глаз?! — кричал астроном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уходите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить, как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь...

— Погодите, — сказал Штирлиц. — Крик — не довод. У вас есть какие-либо конкретные предложения?

— Что? — испуганно спросил астроном.

Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома: он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам; к ним привыкают быстро, отвыкают — медленно.

— Я спрашиваю: каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий — значительно труднее.

— Я отвергаю астрологию, — ответил ученый, — но я преклоняюсь перед астрономией. Меня лишили кафедры в Бонне...

— Так ты поэтому так злобствуешь, собака?! — закричал Холтофф.

— Подождите, — сказал Штирлиц, досадливо поморщившись, — не надо кричать, право... Продолжайте, пожалуйста...

— Мы живем в год беспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светила, на планеты и звезды, влияют на наше маленькое человечество...

— Вы, вероятно, — спросил Штирлиц, — вывели какой-либо гороскоп?

— Гороскоп — это интуитивная, может быть, даже гениальная, недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать: о взаимосвязанности каждого живущего на земле с небом и солнцем... И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины...

— Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее, — сказал Штирлиц. — Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти в камеру и дня два отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору.

Когда астронома увели, Штирлиц сказал:

— Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов.

— Но он говорит как настоящий англичанин из лондонского радио... Или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой.

— Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет, это несерьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или Кальтенбруннеру с просьбой: дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки, — пусть работает, он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах, в сосновом лесу, и никаких бомбежек... Нет?

Холтофф усмехнулся:

— Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек...

Штирлиц внимательно посмотрел на Холтоффа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо переключать бумажки на столе с места на место, и только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе...

### **15.2.1945 (20 часов 44 минуты)**

*Стенограмма совещания у фюрера.*

*«Присутствовали: Кейтель, Йодль, посланник Хавель — от министерства иностранных дел, рейхслейтер Борман, обергруппенфюрер СС Фегеляйн — посланник ставки рейхсфюрера СС, рейхсминистр промышленности Шпеер, а также адмирал Фосс, капитан третьего ранга Людде-Нейрат, адмирал фон Путкамер, адъютанты, стенографистки.*

Б о р м а н. Кто там все время расхаживает? Это мешает! И потише, пожалуйста, господа военные.

П у т к а м е р. Я попросил полковника фон Бюлова дать мне последнюю справку о положении люфтваффе в Италии.

Б о р м а н. Я не о полковнике. Все говорят, и это создает надоедливый, постоянный шум.

Гитлер. Мне это не мешает. Господин генерал, на карту не нанесены изменения на сегодняшний день в Курляндии.

Йодль. Мой фюрер, вы не обратили внимания: вот коррективы сегодняшнего утра.

Гитлер. Очень мелкий шрифт на карте. Спасибо, теперь я увидел.

Кейтель. Генерал Гудериан снова настаивает на вывозе наших дивизий из Курляндии.

Гитлер. Это неразумный план. Сейчас войска генерала Рендулича, оставшиеся в глубоком тылу русских, в четырехстах километрах от Ленинграда, притягивают к себе от сорока до семидесяти русских дивизий. Если мы уведем оттуда наши войска, соотношение сил под Берлином сразу же изменится — и отнюдь не в нашу пользу, как это кажется Гудериану. В случае, если мы уберем войска из Курляндии, тогда на каждую немецкую дивизию под Берлином будет приходиться, по крайней мере, три русских.

Борман. Надо быть трезвым политиком, господин фельдмаршал...

Кейтель. Я военный, а не политик.

Борман. Это неразделимые понятия в век тотальной войны.

Гитлер. Для того чтобы нам эвакуировать войска, стоящие сейчас в Курляндии, потребуется — учитывая опыт Либавской операции — по крайней мере, полгода. Это смехотворно. Нам отпущены часы, именно часы — для того, чтобы завоевать победу. Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить себе на один лишь вопрос: возможна ли близкая победа? При чем я не прошу, чтобы ответ был слепым в своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера, я ищу веры осмысленной. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция

союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, наша цель ясна всем нам. В то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движемся одним устремлением; ему подчинена наша жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическими или иными путями — утопия. В лучшем случае утопия, если не проявление паники и утрата всяческой перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя негибкость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших победных орудий. Ничто так не действует на западные демократии, как демонстрация силы. Ничто так не отрешает Сталина, как растерянность Запада, с одной стороны, и наши удары — с другой. Учтите, Сталину приходится сейчас вести войну не в лесах Брянска и не на полях Украины. Он держит свои войска на территории Польши, Румынии, Венгрии. Русские, войдя в прямое соприкосновение с «не родиной», уже ослаблены и — в определенной мере — деморализованы. Но не на русских и не на американцев я сейчас обращаю максимум внимания. Я обращаю свой взор на немцев! Только наша нация может одержать и обязана одержать победу! В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Вся страна — я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италии, значительную территорию Чешского и Богемского протекторатов, Данию и часть Голландии. Это — сердце европейской цивилизации. Это концентрация мощи — материальной и духовной. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере быстро мы используем этот матери-



ал во имя нашего триумфа. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыплется. Эгоистические интересы каждого из них возобладают над стратегическим видением проблемы. Я предлагаю во имя приближения часа нашей победы следующее: 6-я танковая армия СС начинает контрнаступление под Будапештом, обеспечивая, таким образом, надежность южного бастиона национал-социализма в Австрии и Венгрии, с одной стороны, и подготавливая выход во фланг русским — с другой. Учтите, что именно там, на юге, в Надьканиже, мы имеем семьдесят тысяч тонн нефти. Нефть — это кровь, пульсирующая в артериях войны. Я скорее пойду на сдачу Берлина, чем на потерю этой нефти, которая гарантирует мне неприступность Австрии, ее общность с итальянской миллионной группировкой Кессельринга. Далее: группа армий «Висла», собрав резервы, проведет решительное контрнаступление во фланги русских, использовав для этого померанский плацдарм. Войска рейхсфюрера СС, прорвав оборону русских, выходят к ним в тыл и овладевают инициативой; поддерживаемые штеттинской группировкой, они разрезают фронт русских. Вопрос подвоза резервов для Сталина — это вопрос вопросов. Расстояния против него. Расстояния, наоборот, за нас. Семь оборонительных линий, укрывающих Берлин и — практически — делающих его неприступным, позволят нам нарушить каноны военного искусства и перебросить на запад значительную группу войск с юга и с севера. У нас будет время: Сталину потребуется два-три месяца для перегруппировки резервов, нам же для переброски армий — пять дней; расстояния Германии позволяют сделать это, бросив вызов традициям стратегии.

И о д л ь. Желательно было бы все же увязать этот вопрос с традициями стратегии...

Гитлер. Речь идет не о деталях, а о целом. В конце концов, частности всегда могут быть решены в штабах группами узких специалистов. Военные имеют более четырех миллионов людей, организованных в мощный кулак сопротивления. Задача состоит в том, чтобы организовать этот мощный кулак сопротивления в сокрушающий удар победы. Мы сейчас стоим на границах августа 1938 года. Мы слиты воедино. Мы, нация немцев. Наша военная промышленность вырабатывает вооружения в четыре раза больше, чем в 1939 году. Наша армия в два раза больше, чем в том году. Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима. Так я спрашиваю вас: неужели мы не выиграем мир путем войны? Неужели колоссальный военный успех не родит успех политический?

Кейтель. Как сказал рейхслейтер Борман, военный сейчас одновременно и политик.

Борман. Вы не согласны?

Кейтель. Я согласен.

Гитлер. Я прошу к завтрашнему дню подготовить мне конкретные предложения, господин фельдмаршал.

Кейтель. Да, мой фюрер. Мы приготовим общую заметку, и, если вы одобрите ее, мы начнем отработку всех деталей.

Когда совещание кончилось и все приглашенные разошлись, Борман вызвал двух стенографисток.

— Пожалуйста, срочно расшифруйте то, что я вам сейчас продиктую, и разошлите от имени ставки всем высшим офицерам вермахта... Итак: «В своей исторической речи 15 февраля в ставке наш фюрер, осветив положение на фронтах, в частности, сказал: «Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости блока, каким является коалиция союзников». Далее...

**«Кем они меня там считают?»  
(Задание)**

*(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС (VI отдел РСХА): «Истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)*

Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль: снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето и можно уехать на Могельзее и там ловить рыбу или спать в шезлонге.

Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельсберге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один: его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице — сдали нервы от бесконечных налетов.

Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка «К охотнику».

«Наверное, саксонка, — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной, — черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии».

— Который час? — спросил Штирлиц.

— Около семи...

Штирлиц усмехнулся: «Счастливая девочка... Она может себе позволить это «около семи». Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия... Но говорит она на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта...»

Услышав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул:

— Девочка, посмотри, кого там принесло?

Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала:

— К вам господин из полиции.

Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзиной в руке.

— Господин штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него...

— Спасибо, — ответил Штирлиц, — положите в холодильник. Девочка вам поможет.

Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:

— Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.

«Девочка впервые увидела столько продуктов, — понял он. — Бедная девочка».

Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:

— Девочка... половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого...

— Что вы, герр Штирлиц, — ответила она, — я не из-за продуктов...

— Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?

— Седые мужчины мне нравятся больше всего на свете.

— Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества... Как тебя зовут?

— Мари... Я ж говорила... Мари.

— Да, да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии?

— Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители.

— Ну иди, Мари, иди отдыхать. А то я боюсь, не начали бы они бомбить, тебе будет страшно идти, когда бомбят.

Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми светомаскировочными шторами и включил настольную лампу. Нагнулся к камину и только тут заметил, что полена сложены именно так, как он любил: ровным колодецем, и даже береста лежала на голубом грубом блюде.

«Я ей об этом не говорил. Или нет... Сказал. Мимоходом... Девочка умеет запоминать, — думал он, зажигая бересту, — мы все думаем о молодых, как старые учителя, и со стороны это, верно, выглядит очень смешно. А я уже привык думать о себе как о старике: сорок пять лет...»

Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его. Он услышал Москву: передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам: «Это непатриотично — слушать вражеское радио, но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут». Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его прислуги, и от шофера. Если «наци № 2»

таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, думал Штирлиц, ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гиммлера, не отличавшегося особым изыском в мышлении.

Романс окончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо, немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятницам и средам. Штирлиц записывал цифры: это было донесение, предназначенное для него, он ждал его уже шесть дней. Он записывал цифры в стройную колонку: цифр было много, и, видимо, опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз.

А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы.

Штирлиц достал из книжного шкафа томик Монтеня, перевел цифры в слова и соотнес эти слова с кодом, скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя.

«Кем они считают меня? — подумал он. — Гением или всемогущим? Это же невысказано...»

Думать так у Штирлица были все основания, потому что задание, переданное ему через московское радио, гласило:

*«Юстасу. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые искали выход на резидентуру союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Аллена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов: 1) дезинформацией, 2) личной инициативой высших офицеров СД, 3) выполнением задания центра.*

В случае, если эти сотрудники СД и СС выполняют задание Берлина, необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием. Конкретно: кто из высших руководителей рейха ищет контактов с Западом. *Алекс»*.

...За шесть дней перед тем, как эта телеграмма попала в руки Юстаса, Сталин, ознакомившись с последними донесениями советской секретной службы за кордоном, вызвал на Ближнюю дачу начальника разведки и сказал ему:

— Только подготовишки от политики могут считать Германию окончательно обессиленной, а потому не опасной... Германия — это сжатая до предела пружина, которую должно и можно сломить, прилагая равно мощные усилия с обеих сторон. В противном случае, если давление с одной стороны превратится в подпирание, пружина может, распрямившись, ударить в противоположном направлении. И это будет сильный удар, во-первых, потому, что фанатизм гитлеровцев по-прежнему силен, а во-вторых, потому, что военный потенциал Германии отнюдь не до конца истощен. Поэтому всякие попытки соглашения фашистов с антисоветчиками Запада должны рассматриваться вами как реальная возможность. Естественно, — продолжал Сталин, — вы должны отдать себе отчет в том, что главными фигурами в этих возможных сепаратных переговорах будут скорее всего ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, который на грани падения, будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь. Это аксиома в любой политической игре. Если вы проморгаете эти возможные процессы — пеняйте на себя. ЧК беспощадна, — неторопливо закурив, добавил Сталин, — не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу — вольно или невольно...

Где-то далеко завывали сирены воздушной тревоги, и сразу же залаяли зенитки. Электростанция выключила свет, и Штирлиц долго сидел возле камина, наблюдая за тем, как по черно-красным головешкам змеились голубые огоньки.

«Если закрыть вытяжку, — лениво подумал Штирлиц, — через три часа я усну. Так сказать, почил в бозе... Мы так чуть не угорели с бабушкой на Якиманке, когда она прежде времени закрыла печку, а в ней еще были такие же дрова — черно-красные, с такими же голубыми огоньками. А газ, которым мы отравились, был бесцветным. И совсем без запаха... По-моему...»

Дождавшись, когда головешки сделались совсем черными и уже не было змеистых голубых огоньков, Штирлиц закрыл вытяжку, зажег большую свечу, вставленную в горлышко бутылки из-под шампанского, и подивился тому диковинному, что составил стеарин, обтекая бутылку. Он сжег много свечей, и бутылка почти не была видна: какой-то странный пупырчатый сосуд вроде древних амфор, только бело-красный. Штирлиц специально просил своих друзей, выезжавших в Испанию, привозить ему цветные свечи: после эти диковинные стеариновые бутылки он раздаивал знакомым.

Неподалеку тяжело рвануло подряд два раза.

«Фугаски, — определил он. — Здоровые фугаски. Бомбят ребята славно. Просто великолепно бомбят. Обидно, конечно, если пристукнут в последние дни. Наши и следов не найдут. Вообще-то противно погибнуть безвестно. Сашенька, — вдруг увидел он лицо жены. — Сашенька маленькая и Сашенька большой... Теперь умирать совсем не с руки. Теперь надо во что бы то ни стало выкарабкаться. Одному жить легче, потому что не так страшно погибать. А повидав сына — погибать страшно. Идиоты пишут в романах: он умер тихо, на руках у любящих родственников. Нет ничего страшнее, чем умирать на руках



своих детей, видеть их в последний раз, чувствовать их близость и понимать, что это навсегда, что это конец, и тьма, и горе им...»

Однажды на приеме в советском посольстве на Унтер-ден-Линден Штирлиц, беседуя вместе с Шелленбергом с молодым советским дипломатом, хмуро — по своей обычной манере — слушал дискуссию русского и шефа политической разведки о праве человека на веру в амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря посольства, «дикарскую требуху». В веселом споре этом Шелленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня в спор.

«Светит фарами, — подумал он, — присматривается к противнику: характер человека лучше всего узнается в споре. Это Шелленберг умеет делать как никто другой».

— Если вам все ясно в этом мире, — продолжал Шелленберг, — тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию, но физику, химию, математику...

— Кто из физиков или математиков, — горячился секретарь посольства, — приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это нонсенс.

«Ему надо было остановиться на вопросе, — отметил для себя Штирлиц, — а он не выдержал — сам себе ответил. В споре важно задавать вопросы: тогда виден контрагент, да и потом, отвечать всегда сложнее, чем спрашивать...»

— Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого? — спросил Шелленберг. — Или вы отвергаете такую возможность?

— Наивно отвергать возможность. Категория возможности — парафраз понятия перспективы.

«Хорошо ответил, — снова отметил для себя Штирлиц. — Надо было отыграть... Спросить, например: «Вы не согласны с этим?» А он не спросил и снова подставился под удар».

— Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непонятой возможности? Или вы против?

Штирлиц пришел на помощь.

— Немецкая сторона победила в споре, — констатировал он, — однако истины ради стоит отметить, что на блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. Мы исчерпали тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, возьми на себя русская сторона инициативу в атаке — вопросами...

«Понял, братишечка?» — спрашивали глаза Штирлица, и по тому, как замер враз взбухшими желваками русский дипломат, Штирлицу стало ясно, что его урок понят...

«Не сердись, милый, — думал он, глядя на отошедшего парня, — лучше это сделать мне, чем кому-то другому... Только не прав ты про амулет... Когда мне очень плохо и я с открытыми глазами иду на риск, а у меня он всегда смертельный, я надеваю на грудь амулет — медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос... Мне пришлось выбросить ее медальон — он был слишком русским, и я купил немецкий, тяжелый, нарочито богатый, а прядь волос — золотисто-белых, ее, Сашенькиных, — со мной, и это мой амулет...»

Двадцать три года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку в последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией — сначала в Шанхай, потом в Париж. Но с того ветреного, страшного, далекого дня образ ее жил в нем; она стала его частью, она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я»...

Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове, поздней ночью. Он вспомнил, как «Гришанчиков»

приходил к нему в гостиницу и как они шептались, включив радио, и как мучительно ему было уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь. Штирлиц знал, что сын сейчас в Праге, что он должен спасти этот город от взрыва — так же, как он с майором Вихрем спас Краков. Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело, но он также понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном — из Берлина до Праги всего шесть часов езды — может поставить его под удар...

В сорок втором году, во время бомбежки под Великими Луками, убило шофера Штирлица — тихого, вечно улыбавшегося Фрица Рошке. Парень был честный; Штирлиц знал, что он отказался стать осведомителем гестапо и не написал на него ни одного рапорта, хотя его об этом просили из IV отдела РСХА весьма настойчиво.

Штирлиц, оправившись после контузии, заехал в дом под Карлсхорстом, где жила вдова Рошке. Женщина лежала в нетопленном доме и бредила. Полуторагодовалый сын Рошке Генрих ползал по полу и тихонько плакал: кричать мальчик не мог, он сорвал голос. Штирлиц вызвал врача. Женщину увезли в госпиталь: крупозное воспаление легких. Мальчика Штирлиц забрал к себе: его экономка, старая добрая женщина, выкупала малыша и, напоив его горячим молоком, хотела было положить у себя.

— Постелите ему в спальне, — сказал Штирлиц, — пусть он будет со мной.

— Дети очень кричат по ночам.

— А может быть, я именно этого и хочу, — тихо ответил Штирлиц, — может быть, мне очень хочется слышать, как по ночам плачут маленькие дети.

Старушка посмеялась: «Что может быть в этом приятного? Одно мученье».

Но спорить с хозяином не стала. Она проснулась часа в два. В спальне надрывался, заходился в плаче мальчик. Старушка надела теплый стеганый халат, наскоро причесалась и спустилась вниз. Она увидела свет в спальне. Штирлиц ходил по комнате, прижав к груди мальчика, завернутого в плед, и что-то тихо напевал ему. Старушка никогда не видела такого лица у Штирлица — оно до неузнаваемости изменилось, и старушка даже поначалу подумала: «Да он ли это?» Лицо Штирлица — обычно жесткое, молодежливое — сейчас было очень старым и даже, пожалуй, женственным.

Наутро экономка подошла к двери спальни и долго не решалась постучать. Обычно Штирлиц в семь часов садился к столу. Он любил, чтобы тосты были горячими, поэтому она готовила их с половины седьмого, точно зная, что в раз и навсегда заведенное время он выпьет чашку кофе — без молока и сахара, потом намажет тостик мармеладом и выпьет вторую чашку кофе — теперь с молоком. За те четыре года, что экономка прожила в доме Штирлица, он ни разу не опаздывал к столу. Сейчас было уже восемь, а в спальне царил тишина. Она чуть приоткрыла дверь и увидела, что Штирлиц и малыш спят на широкой кровати. Мальчуган лежал поперек кровати, упираясь пятками в спину Штирлицу, а тот умещался каким-то чудом на самом краю. Видимо, он услышал, как экономка отворила дверь, потому что сразу же открыл глаза и, улыбнувшись, приложил палец к губам. Он говорил шепотом даже на кухне, когда зашел узнать, чем она собирается кормить мальчика.

— Мне говорил племянник, — улыбнулась экономка, — что только русские кладут детей к себе в кровать...

— Да? — удивился Штирлиц. — Почему?

— От свинства...

— Значит, вы считаете своего хозяина свиньей? — хохотнул Штирлиц.

Экономка смешалась, покрылась красными пятнами.

— О господин Штирлиц, как можно... Вы положили дитя в кровать, чтобы заменить ему родителей. Это от благородства и доброты...

Штирлиц позвонил в госпиталь. Ему сказали, что Анна Рошке умерла час назад. Штирлиц навел справки, где живут родственники погибшего шофера и Анны. Мать Фрица ответила, что она живет одна, очень больна и не имеет возможности содержать внука. Родственники Анны погибли в Эссене во время налета британской авиации. Штирлиц, дивясь самому себе, испытал затаенную радость: теперь он мог усыновить мальчика. Он бы сделал это, если бы не страх за будущее Генриха. Он знал участь детей тех, кто становился врагом рейха: детский дом, потом концлагерь, а после — печь...

Штирлиц отправил малыша в горы, в Тюрингию, в семью экономки.

— Вы правы, — посмеиваясь, сказал он женщине за завтраком, — маленькие дети весьма обременительны для одиноких мужчин...

Экономка ничего не ответила, только заученно улыбнулась. А ей хотелось ему сказать, что это жестоко и безнравственно — приучить за эти три недели к себе малыша, а потом отправить его в горы, к новым людям — значит, снова ему надо будет привыкать, снова обретать веру в того, кто ночью спит рядом и, укачивая, поет тихие, добрые песни.

— Я понимаю, — закончил Штирлиц, — вам это кажется жестокостью. Но что же делать людям моей профессии? Разве лучше будет, если он станет сиротой второй раз?

Экономку всегда поражало умение Штирлица угадывать ее мысли.

— О нет, — сказала она, — я отнюдь не считаю ваш поступок жестоким. Он разумен, ваш поступок, господин Штирлиц, в высшей мере разумен.

Она даже и не поняла: сказала сейчас правду или солгала ему, испугавшись того, что он снова понял ее мысли.

...Штирлиц поднялся и, взяв свечу, подошел к столу. Он достал несколько листков бумаги и разложил их перед собой, словно карты во время пасьянса. На одном листе бумаги он нарисовал толстого, высокого человека. Он хотел подписать внизу — Геринг, но делать этого не стал. На втором листке он нарисовал лицо Геббельса, на третьем — сильное, со шрамом лицо: Борман. Подумав немного, он написал на четвертом листке: «рейхсфюрер СС». Это был титул его шефа, Генриха Гимmlера.

...Разведчик, если он оказывается в средоточии важнейших событий, должен быть человеком бесконечно эмоциональным, даже чувственным — сродни актеру; но при этом эмоции обязаны быть в конечном счете подчинены логике, жестокой и четкой.

Штирлиц, когда ночью, да и то изредка, позволял себе чувствовать себя Исаевым, рассуждал так: что значит быть настоящим разведчиком? Собрать информацию, обработать объективные данные и передать их в Центр — для политического обобщения и принятия решения? Или сделать свои, сугубо индивидуальные выводы, наметить свою перспективу, предложить свои выкладки? Исаев считал, что если разведке заниматься планированием политики, тогда может оказаться, что рекомендаций будет много, а сведений — мало. Очень плохо, считал он, когда разведка полностью подчинена политической, заранее выверенной линии: так было с Гитлером, когда он, уверовав в слабость Советского Союза, не прислушался к осторожным мнениям военных — Россия не так слаба, как кажется. Также плохо, думал Исаев, когда разведка тщится подчи-

нить себе политику. Идеально, когда разведчик понимает перспективу развития событий и предоставляет политикам ряд возможных, наиболее, с его точки зрения, целесообразных решений.

Разведчик, считал Исаев, может сомневаться в непогрешимости своих предсказаний, он не имеет права на одно только: он не имеет права сомневаться в их полной объективности.

Приступая сейчас к последнему обзору материала, который он смог собрать за все эти годы, Штирлиц поэтому обязан был взвесить все свои «за» и «против»: вопрос шел о судьбах Европы, и ошибиться в анализе никак нельзя.

### **Информация к размышлению (Геринг)**

Боевой летчик Первой мировой войны, герой кайзеровской Германии, Геринг после первого нацистского выступления сбежал в Швецию. Начал работать там летчиком гражданской авиации, и однажды, в страшный шторм, он чудом усадил свой одномоторный аэроплан в замке Роклштадт, там познакомился с дочерью полковника фон Фока, Мариной фон Катцов, отбил ее у мужа, уехал в Германию, встретился с фюрером, вышел на демонстрацию национал-социалистов в ноябре 1923 года, был ранен, чудом избежал ареста и эмигрировал в Инсбрук, где его уже ждала Карина. У них не было денег, но владелец отеля кормил их бесплатно: он был так же, как Геринг, национал-социалистом. Потом Герингов пригласил в Венецию хозяин отеля «Британия», и там они жили до 1927 года, до того дня, как в Германии была объявлена амнистия. Менее чем через полгода Геринг стал депутатом рейхстага вместе с

другими одиннадцатью нацистами. Гитлер баллотироваться не мог: он был австриец.

Карина писала своей матери в Швецию: «В рейхстаге Герман сидит вместе с генералом фон Энн из Баварии. Рядом много уголовных типов из Красной гвардии — со звездами Давида и с красными звездами, впрочем, это одно и то же. Кронпринц прислал Герману телеграмму: «Только вы с вашей выправкой можете представлять германцев».

Надо было готовиться к новым выборам. По решению фюрера Геринг ушел с партийной работы, он оставался только членом рейхстага. Его тогдашняя задача: наладить связи с сильными мира сего — партия, намеревающаяся взять власть, должна иметь широкий круг связей. По решению партии он снял шикарный особняк на Баденштрассе: там принимал принца Гогенцоллерна, принца Кобурга, магнатов. Душой дома была Карина: обаятельная женщина, аристократка, она импонировала всем — дочь одного из высших сановников Швеции, ставшая женой героя войны, изгнанника, борца против разложившейся западной демократии, которая не в силах противостоять большевистскому вандализму.

Каждый раз перед приемом рано утром приезжал партайлейтер берлинской нацистской организации Геббельс. Он был связным между партией и Герингом. Геббельс садился к роялю, а Геринг, Карина и Томас, ее сын от первого брака, пели народные песни: в доме лидера нацистов не переносили разнузданных ритмов американского или французского джаза.

Именно сюда, в особняк, снятый на деньги партии, 5 января 1931 года приехали Гитлер, Шахт и Тиссен. Именно этот шикарный особняк услышал слова сговора финансовых и промышленных воротил с фюрером национал-социалистов Гитлером, призывавшим рабочих Германии



«сбросить иго коминтерновского большевизма и растленного империализма и сделать Германию государством народа».

После рэмовского путча, когда в оппозицию к фюреру стали многие ветераны, пошли разговоры:

— Геринг перестал быть Германом, он стал президентом... Он не принимает товарищей по партии, их унижительно ставят на очереди в его канцелярии... Он погряз в роскоши...

Сначала об этом говорили вполголоса только рядовые члены партии. Но когда Геринг в 1935 году построил под Берлином замок Каринхалле, Гитлеру пожаловались на него уже не рядовые национал-социалисты, а главари — Лей и Заукель. Геббельс считал, что Геринг начал портиться еще в своем особняке.

— Роскошь засасывает, — говорил он, — Герингу надо помочь, он слишком дорог всем нам.

Гитлер поехал в Каринхалле, осмотрел этот замок и сказал:

— Оставьте Геринга в покое. В конце концов, он один знает, как надо представляться дипломатам. Пусть Каринхалле будет резиденцией для приема иностранных гостей. Пусть! Герман это заслужил. Будем считать, что Каринхалле принадлежит народу, а Геринг только живет здесь...

Здесь Геринг проводил все время, перечитывая Жюль Верна и Карла Мэя — это были два его самых любимых писателя. Здесь он охотился на ручных оленей, а по вечерам просиживал долгие часы в кинозале: он мог смотреть по пять приключенческих фильмов подряд. Во время сеанса он успокаивал своих гостей.

— Не волнуйтесь, — говорил он, — конец будет хорошим...

Отсюда, из Каринхалле, после просмотра приключенческих фильмов, он вылетал в Мюнхен — принимать капи-

туляцию Чемберлена, в Варшаву — наблюдать расстрелы в гетто, в Житомир — планировать уничтожение славян...

В апреле 1942 года, после налета американских бомбардировщиков на Киль, когда город был сожжен и разрушен, Геринг сообщил фюреру, что в налете участвовало триста вражеских самолетов. Гауляйтер Килья Грохе, посевший за эти сутки, измученный, документально опроверг Геринга: в налете принимало участие восемьсот бомбардировщиков, а люфтваффе было бессильно и ничего не смогло сделать для того, чтобы спасти город.

Гитлер молча смотрел на Геринга, и только брезгливая гримаса пробежала по его лицу. Потом он взорвался:

— «Ни одна вражеская бомба не упадет на города Германии»?! — нервно, с болью заговорил он, не глядя на Геринга. — Кто объявил об этом нации? Кто уверял в этом нашу партию?! Я читал в книгах об азартных карточных играх — мне знакомо понятие блефа! Германия не зеленое сукно ломберного стола, на котором можно играть в азартные игры. Вы погрязли в довольстве и роскоши, Геринг! Вы живете в дни войны, словно император или еврейский плутократ! Вы стреляете из лука оленей, а мою нацию расстреливают из пушек самолеты врага! Призвание вождя — это величие нации! Удел вождя — скромность! Профессия вождя — точное соотнесение обещаний с их выполнением!

Из заключения врачей, прикрепленных к рейхсмаршалу, стало известно, что Геринг, выслушав эти слова Гитлера, вернулся к себе и слег с температурой в сильнейшем нервном припадке.

Итак, в 1942 году впервые Геринг, «наци № 2», официальный преемник Гитлера, был подвергнут такой унижительной критике, да еще в присутствии аппарата фюрера. Это событие немедленно легло в досье Гимmlера, и на следующий день, не испрашивая разрешения Гитлера, рейхс-

фюрер СС отдал директиву начать прослушивание всех телефонных разговоров ближайшего соратника фюрера.

Впрочем, впервые Гиммлер в течение недели прослушивал разговоры рейхсмаршала уже после скандала с его братом Альбертом, руководителем экспорта заводов «Шкода». Альберт, слывший защитником обиженных, написал на бланке брата письмо коменданту лагеря Маутхаузен: «Немедленно освободите профессора Киша, против которого нет серьезных улик». И подписался: Геринг. Без инициалов. Перепуганный комендант концлагеря отпустил сразу двух Кишей: один из них был профессором, а второй — подпольщиком. Герингу стоило большого труда выручить брата: он вывел его из-под удара, рассказав об этом фюреру как о занятом анекдоте.

Однако Гитлер по-прежнему повторял Борману:

— Никто иной не может быть моим преемником, кроме Геринга. Во-первых, он никогда не лез в самостоятельную политику, во-вторых, он популярен в народе, и в-третьих, он — главный объект для карикатур во вражеской печати.

Это было мнение Гитлера о человеке, который вел всю практическую работу по захвату власти, о человеке, который совершенно искренне сказал — и не кому-нибудь, а жене, и не для диктофонов — он тогда не верил, что его когда-либо смогут прослушивать братья по борьбе, — а ночью, в постели:

— Не я живу, но фюрер живет во мне...

### **15.2.1945 (22 часа 32 минуты)**

*(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года обергруппенфюрера СС, начальника IV отдела РСХА (гестапо) Мюллера: «Истинный ариец. Характер — юридический,*

*выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором...»)*

Шеф службы имперской безопасности СД Эрнст Кальтенбруннер говорил с сильным венским акцентом. Он знал, что это сердило фюрера и Гиммлера, и поэтому одно время занимался с фонетологом, чтобы научиться истинному «хохдойчу». Но из этой затеи ничего путного не вышло: он любил Вену, жил Веной и не мог заставить себя даже час в день говорить на «хохдойче» вместо своего веселого, хотя и вульгарного, венского диалекта. Поэтому в последнее время Кальтенбруннер перестал подделываться под немцев и говорил со всеми так, как ему и следовало говорить, — по-венски. С подчиненными он говорил даже на акценте Инсбрука; в горах австрийцы говорят совершенно особенно, и Кальтенбруннеру порой нравилось ставить людей своего аппарата в тупик: сотрудники боялись переспросить непонятное слово и испытывали острое чувство растерянности и замешательства.

Он посмотрел на шефа гестапо обергруппенфюрера СС Мюллера и сказал:

— Я не хочу будить в вас злобную химеру подозрительности по отношению к товарищам по партии и по совместной борьбе, но факты говорят о следующем. Первое: Штирлиц косвенно, правда, но все-таки причастен к провалу краковской операции. Он был там, но город, по странному стечению обстоятельств, остался невредим, хотя он должен был взлететь на воздух. Второе: он занимался исчезнувшим ФАУ, но он не нашел его, ФАУ исчез, и я молю Бога, чтобы он утонул в привисленских болотах. Третье: он и сейчас курирует круг вопросов,

связанных с оружием возмездия, и хотя явных проволов нет, но и успехов, рывков, очевидных побед мы тоже не наблюдаем. А курировать — это не значит только сажать инакомыслящих. Это также означает помощь тем, кто думает точно и перспективно... Четвертое: блуждающий передатчик, работающий на стратегическую, судя по коду, разведку большевиков, которым он занимался, по-прежнему работает в окрестностях Берлина. Я был бы рад, Мюллер, если бы вы сразу опровергли мои подозрения. Я симпатизирую Штирлицу, и мне хотелось бы получить у вас документальные опровержения моих внезапно появившихся подозрений.

Мюллер работал сегодня всю ночь, не выспался, в висках шумело, поэтому он ответил без обычных своих грубоватых шуток:

— У меня на него никогда сигналов не было. А от ошибок и неудач в нашем деле никто не гарантирован.

— То есть вам кажется, что я здорово ошибаюсь?

В вопросе Кальтенбруннера были жесткие нотки, и Мюллер, несмотря на усталость, понял их.

— Почему же... — ответил он. — Появившееся подозрение нужно проанализировать со всех сторон, иначе зачем держать мой аппарат? Больше у вас нет никаких фактов? — спросил Мюллер.

Кальтенбруннеру табак попал в дыхательное горло, и он долго кашлял, лицо его посинело, жилы на шее сделались громадными, взбухшими, багровыми.

— Как вам сказать, — ответил он, вытирая слезы. — Я попросил несколько дней пописать его разговоры с нашими людьми. Те, кому я беспрекословно верю, открыто говорят друг с другом о трагизме положения, о тупости наших военных, о кретинизме Риббентропа, о болване Геринге, о том страшном, что ждет нас всех, если русские ворвутся в Берлин... А Штирлиц отвечает: «Ерун-

да, все хорошо, дела развиваются нормально». Любовь к родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе... Я спросил себя: «А не болван ли он?» У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Почему же он тогда неискренен? Или он никому не верит, либо он чего-то боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае? Все его операции должны иметь выход за границу, к нейтралам. И я спросил себя: «А вернется ли он оттуда? И если вернется, то не повяжется ли он там с оппозиционерами или иными негодьями?» Я не смог себе ответить точно — ни в положительном, ни в отрицательном аспекте.

Мюллер спросил:

— Сначала вы посмотрите его досье или сразу взять мне?

— Возьмите сразу вы, — схитрил Кальтенбруннер, успевший изучить все материалы. — Я должен ехать к фюреру.

Мюллер вопросительно посмотрел на Кальтенбруннера. Он ждал, что тот расскажет какие-нибудь свежие новости из бункера, но Кальтенбруннер ничего рассказывать не стал. Он выдвинул нижний ящик стола, достал бутылку «Наполеона», придвинул рюмку Мюллеру и спросил:

— Вы сильно пили?

— Совсем не пил.

— А что глаза красные?

— Я не спал — было много работы по Праге: наши люди там повисли на «хвосте» у подпольных групп.

— Крюгер будет хорошим подспорьем. Он службист отличный, хотя фантазии маловато. Выпейте коньяку, это взбодрит вас.

— От коньяка я, наоборот, совею. Я люблю водку.

— От этого не осовеете, — улыбнулся Кальтенбруннер и поднял свою рюмку. — Прозит!

Он выпил залпом, и кадык у него стремительно, как у алкоголика, рванулся снизу вверх.

«Он здорово пьет, — отметил Мюллер, выцеживая свой коньяк, — сейчас наверняка нальет себе вторую рюмку».

Кальтенбруннер закурил самые дешевые, крепкие сигареты «Каро» и спросил:

— Ну, хотите повторить?

— Спасибо, — ответил Мюллер, — с удовольствием.

### **Информация к размышлению (Геббельс)**

Штирлиц отложил бумагу с рисунком толстой фигуры Геринга и придвинул к себе листок с профилем Геббельса. За похождения в Бабельсберге, где была расположена киностудия рейха и где жили актрисы, его прозвали бабельсбергским бычком. В досье на него хранилась запись беседы фрау Геббельс с Герингом, когда рейхсминистр пропаганды был увлечен чешской актрисой Лидой Бааровой. Геринг тогда сказал его жене:

— Он разобьет себе лоб из-за баб. Человек, отвечающий за нашу идеологию, сам позорит себя случайными связями с грязными чешками!

Фюрер рекомендовал фрау Геббельс развестись.

— Я поддерживаю вас, — сказал он, — а вашему мужу до тех пор, пока он не научится вести себя, как подобает истинному национал-социалисту — человеку высокой морали и святого соблюдения долга перед семьей, я отказываю в личных встречах...

Сейчас все ушло на задний план. В январе этого года Гитлер приехал в дом Геббельса на день рождения. Он привез фрау Геббельс букетик цветов и сказал:

— Я прошу простить меня за опоздание, но я объехал весь Берлин, пока смог достать цветы: гауляйтер Берлина партайгеноссе Геббельс закрыл все цветочные магазины — тотальной войне не нужны цветы...

Когда через сорок минут Гитлер уехал, счастливая Магда Геббельс сказала:

— К Герингам фюрер никогда бы не поехал...

Берлин лежал в развалинах, фронт проходил в ста сорока километрах от столицы тысячелетнего рейха, а Магда Геббельс торжествовала свою победу, и ее муж стоял рядом, и лицо его было бледно от счастья: после шестилетнего перерыва фюрер приехал в его дом...

Штирлиц нарисовал большой круг и стал неторопливо заштриховывать его четкими и очень ровными линиями. Он вспоминал сейчас все относящееся к дневникам Геббельса. Он знал, что дневниками Геббельса интересовался рейхсфюрер, и прилагал в свое время максимум усилий для того, чтобы как-то познакомиться с ними. Штирлицу удалось посмотреть фотокопию только нескольких страниц. Память у него была феноменальная: он зрительно фотографировал текст, запоминая его почти механически, без всяких усилий.

«...В Англии эпидемия гриппа, — записывал Геббельс. — Даже король болен. Хорошо бы, чтобы эта эпидемия стала фатальной для Англии, но это слишком замечательно, чтобы быть правдой.

2 марта 1943 года. Я не смогу отдыхать до тех пор, пока все евреи не будут убраны из Берлина. После беседы со Шпеером в Оберзальцберге поехал к Герингу. У него в подвале 25 000 бутылок шампанского, у этого национал-



социалиста! Он был одет в тунику, и от ее цвета у меня началась идиосинкразия. Но что делать, надо его принимать таким, каков он есть».

Штирлиц вспомнил, как Гиммлер то же самое, слово в слово, сказал о Геббельсе. Это было в сорок втором году. Геббельс жил тогда на даче, но не с семьей, в большом доме, а в маленьком скромном коттеджике, построенном «для работы». Коттедж стоял возле озера, и ограду можно было обойти по камышам — воды там было по щиколотку, и пост охраны СС находился в стороне. Туда к нему приезжали актрисы: они ехали на электричке и шли пешком через лес. Геббельс считал чрезмерной роскошью, недостойной национал-социалиста, возить к себе женщин на машине. Он сам проводил их через камыши, а после, под утро, пока СС спало, выводил их. Гиммлер, конечно же, узнал об этом. Вот тогда-то он и сказал: «Придется принимать его таким, каков он есть...»

(В этом же коттедже Геббельс завизировал указ, посланный ему из канцелярии Геринга, обязывавший берлинское гестапо уничтожить в трехдневный срок шестьдесят тысяч евреев, работавших в промышленности; именно здесь он написал письмо Адольфу Розенбергу, предлагая уничтожить три миллиона чехов — вместо полутора миллионов, как было запланировано; именно здесь он подготовил план пропагандистской кампании по поводу уничтожения Ленинграда...)

«Геринг говорил мне, — продолжал Геббельс в своих дневниках, — о том, что Африка нам не нужна. «Нам надо думать о силе англо-американцев. Мы потеряем Африку так или иначе». Он направил туда своего заместителя по люфтваффе фельдмаршала Альберта Кессельринга. Снова и снова он спрашивал меня, где большевики берут резервы солдат и оружия. Недоумевал, как британская плутократия может сотрудничать с большевиками,

особенно отмечая приветствие Черчилля по поводу двадцатипятилетия Красной Армии. Очень хорошо говорил об антибольшевистской пропаганде. Его впечатляли мои дальнейшие планы в этой области. Он, правда, апатичен. Надо его взбодрить. Руководство без него невозможно.

Геринг говорит: «Наши поражения на востоке эти сволочи генералы объясняют условиями русской зимы, а это ложь! Паулюс — герой?! Да он же скоро будет выступать по московскому радио! Зачем мы врем народу, что он погиб героем? Фюрер не отдыхал три года. Он ведет жизнь спартанца, сидя в бункере, он не видит воздуха. Три года войны страшнее для него, чем пятьдесят обычных лет. Но он не хочет меня слушать. Фюрера надо освободить от командования армией. Как всегда во время кризисов в партии, его ближайшие соратники должны сплотиться вокруг него и спасти!»

Геринг не тешит себя иллюзиями, что будет с нами, проиграй мы войну: один еврейский вопрос чего стоит!

— Война кончится политическим крахом, — согласился я с ним.

Тут я ему и предложил вместо «комитета трех» создать совет по делам обороны рейха во главе с человеком, помогавшим фюреру в революции. Геринг был потрясен, долго колебался, но после дал принципиальное согласие. Геринг хочет победить Гимmlера. Функ и Лей побеждены мной. Шпеер вообще мой человек. Геринг решил ехать в Берлин сразу после полета в Италию. Там он встретится с нами. Шпеер перед этим побеседует с фюрером. Я тоже. Вопрос назначений решим позже.

9 марта 1943 года. Прилетел в Винницу. Встретил Шпеера. Тот сказал, что фюрер чувствует себя хорошо, но очень зол на Геринга из-за бомбежек Германии. Я был принят фюрером и был счастлив, что провел с ним весь день. Подробно доложил ему о налетах на Берлин. Он слу-